Уроки чтения

Моск. правда. – 1992. – 30 окт.

УХОД В АСТАПОВО

Если спросить, чем заканчивается «Анна Каренина», то большинство, убежден я, ответит: смертью Анны. И ошибется. После страшного конца героини под колесами поезда следует еще одна часть, восьмая, в которой рассказывается о счастливой семейной жизни Кити и Левина.

Но вчитаемся: такой ли уж счастливой? Не исполнено ли идиллическое существование трудолюбивого помещика и его юной жены внутреннего драматизма?

Исполнено. Больше того, в иные недобрые минуты Константин Левин подумывает даже, не пойти ли ему по стопам Анны? «...Счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться».

Это текст поразительный. И поразительный не только тем, что высвечивает нечто общее между столь, казалось бы, разными людьми, как Анна и Левин, но и тем еще, что Толстой почти слово в слово повторяет его в «Исповеди», самом искреннем, самом личностном своем произведении: «И вот тогда я, счастливый человек, вынес из своей комнаты шнурок... чтобы не повеситься на перекладине между шкапами, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни».

Что же такое страшное приключилось со счастливым человеком Константином Левиным? Что же такое страшное приключилось со счастливым человеком Львом Толстым? А то, что оба стали задаваться вопросами, легкого и простого, однозначного ответа на которые не больно-то найдешь. Вот, от греха подальше, и прятали шнурки — с глаз долой! Вот, заядлые охотники, и боялись прикоснуться к ружью.

Вопросы эти сходны в некотором отношении с теми, что терзают нынче многих из нас. Это вопросы о смысле жизни, утраченном нами едва ли не в одночасье. Раньше-то как было? Человек жил ради торжества «великих» идей и, если требовалось (а это, увы, требовалось), приносил себя этим идеям в жертву.

Теперь выяснилось, что идеи, в величии которых не дозволялось усомниться, не только не великие, но, по крайней мере, не бесспорные. А раз так, для чего же тогда живем мы? Где заветный смысл?

Не мы первые (и, надо думать, не последние) задаем себе подобные вопросы. Константин Левин — тот уходит из романа, так, по существу, и не ответив на них, но ведь Левин — это, как известно, сам Толстой, а Толстой прожил еще долго и на главный — самый главный! — вопрос ответ дал.

В 1979 году впервые были изданы полностью «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, домашнего врача Толстого. Это четыре огромных тома, где не только день за днем, но едва ли не час за часом описаны последние годы великого старца, вплоть до кончины на станции Астапово. Вот одна из последних записей этой уникальной хроники — толстовские слова, произнесенные им за шестнадцать часов до смерти: «Я вас прошу помнить, что, кроме Льва Толстого, есть еще много людей, а вы смотрите на одного Льва».

К дочерям обращался Толстой, Татьяне и Александре, но, если угодно, это наказ, завет, духовное завещание писателя всем нам. Тот самый ответ, в поисках которого Константин Левин (равно как и его прототип) едва не наложил на себя руки.

На первый взгляд ничего особенного в словах Толстого нет, однако сам он к этой незамысловатой вроде бы истине шел трудно и долго. С отроческих, по существу, лет — именно в «Отрочестве» впервые сформулирована мысль, которую через шесть без малого десятилетий Лев Толстой, уходя из жизни, счел важным напомнить тем, кто жить оставался. «Мне в первый раз,— признается он в этой ранней повести,— пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни... живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей».

Не все интересы вертятся около нас... Ах как часто вспоминаются мне последнее время эти толстовские слова, причем вспоминаются в самые, казалось бы, неподходящие минуты. То, к примеру, у автобусной остановки, от которой штурмующая дверцы толпа отшвыривает старуху, то у телевизионного экрана, когда очередной политический вития самоутверждается воинственной речью, пафос коей: все интересы вертятся около нас!

Но ведь это тупиковый, это гибельный путь, подразумеваем ли мы под словом «нас» свою собственную персону, семью свою или пусть шире — группу лиц, связанных общими интересами, социальную прослойку или даже нацию, — забывая, что есть другие семьи, другие группы, другие социальные слои и, наконец, другие народы...

Почему вдруг Константин Левин, «счастливый семьянин» (а вместе с ним и его создатель, в полной мере познавший семейное счастье), — почему Левин сознает вдруг неполноценность своего существования? Почему семейное счастье не делает его по-настоящему счастливым? Ибо разве таковой прятал бы от себя веревку?

Есть у Толстого небольшой и малоизвестный роман — первый его роман, который так и называется: «Семейное счастье». Героиня его, прелестная Машенька, глядя, как работают в саду крестьяне, признается возлюбленному, который вскоре станет ее мужем: «...так мне вдруг совестно стало, что они трудятся, а мне так хорошо». Ей хорошо, она счастлива, но рядом те, кому плохо, и вот она тайком от домашних берет все свои деньги и оставляет их на окне мужика, у которого умерла дочь.

Она делает это по велению сердца, не рассуждая, и когда ее будущий супруг, помещик Сергей Михайлович заявляет, что «есть только одно несомненное счастье — жить для других», слова эти поначалу кажутся ей странными. Но в душу западают. Позже, припомнив их, она с восторгом соглашается, что «счастье только в том, чтобы жить для другого».

Ну что ж, это счастье, как явствует из романа, она получает. Она живет для другого (не для других — для другого), то есть для мужа своего, для детей, и на душе у нее спокойно. «...Мы вдвоем будем так бесконечно и спокойно счастливы».

Вдвоем... Для «семейного счастья» этого достаточно.

Но одно дело — Машенька или даже муж ее, заурядный в общем-то помещик Сергей Михайлович, и совсем иное дело — Лев Толстой. «Счастье семейное поглощает меня всего», — записывает он в дневнике через три месяца после женитьбы, однако в словах этих не только удовлетворение, но и смутная тревога. Мало-помалу она растет, и вот уже из-под пера будущего автора «Анны Карениной» вырывается едва ли не крик. «Ужасно, страшно, бессмысленно связывать свое счастье с материальными условиями — жена, дети, здоровье, богатство».

Толстой не прибавляет: «слава», но это искушение ему также ведомо, и одолел он его ох как непросто! «Моя цель — литературная слава»,— признается он во время работы над «Севастопольскими рассказами». Правда, сразу за этой фразой следует другая—о добре, которое его сочинения могут принести людям.

Такая очередность не случайна. Толстой — в особенности молодой Толстой — больше всего на свете любил самого себя. (а что такое слава, как не любовь к себе!); прошло немало времени, прежде чем он сумел не только увидеть «другую жизнь людей», но и признать— не умом признать, сердцем! — ее приоритет относительно жизни собственной.

О том, каких усилий стоило это, свидетельствуют опять-таки толстовские дневники, в которых яснополянский подвижник формулирует суровые правила для себя, нумерует их с бухгалтерской дотошностью (более сорока вышло), а иные даже разносит по таблицам. Так, есть здесь «Правила для развития воли телесной» и есть «Правила для подчинения воле чувства любви». И просто любви — и отдельно! — любви всеобщей...

Уж не игра ли это часом? Не своего ли рода умственная гимнастика?

Не игра... Не гимнастика... Ибо, когда играют и когда занимаются гимнастикой, веревки от себя не прячут. Тут другое: мучительные попытки преодолеть эгоизм — ими, собственно, попытками этими, в разной степени удачными, уснащен весь его путь из Ясной Поляны, под сенью которой была взращена в ранние годы любовь к самому себе, до станции Астапово, где 82-летний писатель, умирая, наказывал видеть и помнить «других людей».

Шесть десятилетий длился этот тяжкий путь. Шесть десятилетий потребовалось Толстому, чтобы истина, бесспорность которой он осознал еще в отрочестве, стала бы кровью и плотью его духовного «я».

Сколько же лет, с тревогой и надеждой думаю я, понадобится нам?

Руслан КИРЕЕВ.